Перво-наперво привиделась ему бабушка Александра. Это она вместе с дворовой повитухой Степанидой и известным орловским доктором Николаем Павловичем Сташенко-старшим радостно приняла на руки новорожденного Николушку…

Он, конечно, не мог помнить, как появился на свет, но точно знал, что случилось это в доме, запечатленном на фотографии — там и жила любимая бабушка. Вышло так, что мать Лескова, Марья Петровна, будучи на сносях, приехала в Горохово погостить, повидаться с сестрой, с родителями — да вдруг и разродилась, что удостоверено надлежащими документами в метрической книге Орловского уезда села Архангельского, что в Собакине: «У отставного коллежского асессора Семёна Дмитриева сына Лескова сын Николай родился 1831 года февраля четвёртого числа». Таинство кре-

щения совершил 11 февраля 1831 года священник Алексей Львов с причтом, а восприемником от крещенской купели стал «села Горохова коллежский асессор и кавалер Михаил Андреевич Страхов».

«Этим исключаются какие-либо сомнения в дате рождения Лескова и отвергаются досужие попытки внести в этот вопрос какую-нибудь неясность», — твердо закрывает тему позднейших вольных или невольных ошибок датировки рождения нашего героя его сын, Андрей Николаевич Лесков. Тридцать лет своей жизни он посвятил работе над своей «книгой сына об отце». В первый вариант вошло около 42 листов «Дней и трудов», 3 листа комментария, 2 листа хронологически построенной библиографии с 1860-1937 годов и 1-1/2 листа документальных приложений, что составило 72 главы и 6 частей. «К осени 1935 года книга была почти написана, но, конечно, только «вдоль». Предстояло еще пройти ее «впоперек», — пояснял Андрей Николаевич. В его письме Горькому от 27 июля 1934 года он сообщал: «Мною закончена (кроме примечаний) большая монографическая работа о Лескове, оглав и вступление к которой, «оправдание» которой прилагаю». Фундаментальный труд «Жизнь Николая Лескова. По его личным, семейным и несемейным записям и памятям» был закончен только перед самой Великой Отечественной войной, хотя первая редакция книги А.Н. Лескова была завершена ещё при жизни А.М. Горького, в 1935 году. Подробнейшая история трудного рождения книги А.Н. Лескова изложена во вступительной статье к третьему изданию, принадлежащей перу одного из лучших критиков и литературоведов нашего времени — А.А. Горелова. Статья глубокая, умная, написана на высочайшем профессиональном уровне, заглавие точное и многозначащее — «Книга сына об отце». Горелов также является автором уникальных комментариев к книге, он же подготовил текст к печати: в третье издание им были внесены исправления по рукописным материалам и корректурам, которые хранились и хранятся в Институте русской литературы[1]. Им также восстановлена принципиальная смысловая правка А.Н. Лескова, не учтенная в издании 1954 года.

---

[1] Вот эти документы: 1. Правленная А.Н. Лесковым верстка книги. 2. Авторские машинописные вставки в корректуру. 3. Машинопись с правкой

Пережив трагическую потерю двух экземпляров готовой к изданию книги в 1941 и 1942 годах, эвакуированный в подмосковное Кратово в августе 1942 года А. Н. Лесков в сентябре 43-го передал спасенные материалы первой редакции книги, имевшие название «Дни и труды Н. С. Лескова»[2], Гослитмузею, где они и находились до возвращения Андрея Николаевича в Ленинград летом 1946 года. Когда Великая Отечественная война закончилась, А. Н. Лесков завершил вторую редакцию книги. Он сохранил значительную часть первой редакции, но существенно перекроил спасенные от цензуры части и главы, углубив и обострив написанное прежде, о чем свидетельствует появление глав «Катастрофа», «Преломи и даждь». Автор также изменил названия некоторых глав, чтобы адаптировать их к сознанию советского читателя.

Для поклонников творчества Николая Семёновича Лескова книга его сына — драгоценнейший дар. Сын писателя и сам оказался талантливым писателем. Возмущенный волной «бездоказательной «воспоминательной» трухи», заполнившей газеты и журналы после смерти отца, Андрей Николаевич решил — «иду на трудный искус: дать достоверную повесть дней и трудов»: «Кто же тогда, кто другой даст то, что, при большом насилии над собой, идя против многих канонов *и держась только правды, какова бы она ни была,* могу дать я — проживший с Лесковым двадцать лет нераздельно и ещё восемь в постоянной близости к нему?» Андрей Николаевич вложил в свой многогранный труд любовь, сострадание, уважение и понимание. «Роль А. Н. Лескова в «оживлении памяти» о Н. С. Лескове в деятельности музея И. С. Тургенева в Орле велика, — подтверждает заведующая музеем

Лескова 5-8 частей книги. 4. «Авторские заметы» А. Н. Лескова от 10 февраля 1954 года, представляющие 156 ответов на редакторские замечания, в подавляющем большинстве случаев выражающие его несогласие с предложенной правкой. Сохранились письма А. Н. Лескова в Гослитиздат (например, от 7 апр. 1953 г.), в которых он просит защитить в книге «самобытное и говорящее» от «обезличения».

[2] Это зарегистрировано на обрывке счета А. Н. Лескова Гослитмузею от 25 декабря 1942 г. — ИРЛИ, ф. 612

Е.В. Мазина. — Письма А.Н. Лескова активизировали интерес Тургеневского музея к жизни и творчеству Н.С. Лескова, побудили определить точный объем лесковских материалов, которыми музей располагал в 1930-е гг., стали поводом к началу изучения этих материалов (…) Благодаря настойчивости А.Н. Лескова, его неоднократным обращениям в Тургеневский музей, вследствие увеличения штата сотрудников музея и упорядочения фондовой работы, в 1939 году имя Лескова впервые появляется в плане работы музея И.С. Тургенева, пока скромно, в общем списке среди других писателей-орловцев. Положение дел меняется к 130-летию со дня рождения Н.С. Лескова. С 1941 г. лесковская тема становится отдельным самостоятельным направлением музейной работы во всех ее формах. Этому способствует «предъюбилейная» активная деятельность А.Н. Лескова в 1939–1941 гг. К 1945 г. у Тургеневского музея появляется собственная продуманная концепция проведения широкомасштабных мероприятий к 50-летию со дня смерти Н.С. Лескова, которую музей и осуществляет во время лесковских дней. Занимаясь популяризацией имени Н.С. Лескова, А.Н. Лесков активно привлекает к празднованию юбилейных дат музей И.С. Тургенева и орловские печатные издания. Он методично работает над созданием у широкой общественности образа Лескова — писателя-классика. А.Н. Лесков помог установить место нахождения усадьбы С.Д. Лескова, отца писателя. В 1941 г., опираясь на информацию А.Н. Лескова, дом, который сохранился на месте усадьбы семьи Лесковых, был включен в маршрут экскурсий по литературным местам Орла, а в 1945 г. на этом доме была установлена мемориальная доска. С помощью А.Н. Лескова были сделаны первые шаги по увековечению памяти Н.С. Лескова на Орловщине и введению имени писателя в культурный контекст города. В 1939–1945 гг. А.Н. Лесков воспринимался сотрудниками музея как консультант и неформальный научный руководитель. Письма А.Н. Лескова, орловские главы его воспоминаний об отце для сотрудников музея стали бесценным источником биографических, краеведческих сведений. Это отобразилось во всех направлениях музейной деятельности: в научной, экспозиционной, культурно-массовой, фондовой работе. Благодаря А.Н. Лескову, в 1940-е гг. фонды музея пополнились ценными материалами —

копиями с фотографий из архива Андрея Николаевича. Сотрудники музея продолжили затормозившийся было процесс комплектования лесковского собрания. Установление общения музея с сыном писателя имело далеко ведущие последствия. Оно стало в дальнейшем залогом наполнения собрания Литературного музея И. С. Тургенева лесковскими реликвиями, поскольку ядром ныне существующего уникального собрания лесковских мемориий стала личная коллекция А. Н. Лескова».

А. А. Горелов считает, что тот «достиг главной цели, потому что имел «охранную грамоту» от «соблазнов непрямоты и обобщающей невразумительности», кои типичны для «жуирующих и благоуспевающих скорохватов», умельцев складывать небылицы о чужой жизни. Этой «охранной грамотой» Лескову-сыну служил на всей длинной дороге создания уникальной биографии Н. С. Лескова отцовский наказ писать «живую правду».

Что это был за наказ?

«7 декабря 1890 года Лесков прочел в № 5308 «Нового времени» сравнительно умеренно хвалебный некролог скончавшемуся накануне Г. П. Данилевскому. Не помню — в тот же или в другой ближайший день автор этого некролога, «милейший» и «обязательнейший» П. В. Быков, появился, при мне и других, в кабинете Лескова. Дружески приветствовав гостя, хозяин исподволь перешел к суровым ему укорам за приукрашение в газетной поминке литературных заслуг и общечеловеческих достоинств умершего.

— Да ведь это же в некрологе, Николай Семёнович!

— А в некрологах надо непременно говорить неправду?

— «Aut bene, aut nihil!»[3]

— В обоих случаях, следовательно, — лгать?

— Но другого же правила нет, Николай Семёнович…

— Как нет? — мягко вмешался в угрожавший обостриться диалог «нарочито-искательный мелодик» В. Л. Величко. — Есть, и очень красивое и звучное, но почему-то никогда не вспоминаемое: «De mortuis — veritas!»[4]

---

[3] Или хорошо, или ничего (лат.).

[4] О мёртвых — правду (лат.).

— Прекрасное правило! — воскликнул Лесков. — Вместо пошлой, приевшейся лжи — живая правда! Ведь только она, может быть, могла бы на что-нибудь пригодиться… Только страх перед нею мог бы поостеречь и поудержать ото многого кое-кого из жуирующих и благоуспевающих!

«Беру этот горячий восклик себе в наказ и постараюсь его не нарушить», — клятвенно подхватил Андрей Николаевич и в полной мере исполнил взятый обет. Работая над жизнеописанием Николая Семёновича Лескова, мне не раз приходилось преодолевать искушение процитировать ту или иную главу из книги А. Н. Лескова целиком: так они остры, свежи, насыщены жизнью. Порой без определенного рода «заимствований» у главного творца лесковианы действительно никак не обойтись, монография Андрея Николаевича всегда будет основополагающей для любого, кто возьмется писать о его отце, великом русском художнике слова. И эта книга не исключение: во многом она базируется на материалах, разысканных и описанных Андреем Николаевичем Лесковым, имевшим возможность черпать материал и из собственных воспоминаний, и из хранящихся у него семейных документов, писем, заметок, а также пользоваться «нескупо рассыпанными в произведениях Лескова данными, но исключительно только такими из них, в которых автобиографическая суть ни в чем и ни в какой мере не подчинена беллетристическим целям». Формулировка важна, но у такого главного героя, как наш, отделить автобиографические факты от художественных измышлений будет нелегко. Отношения писателя Лескова с миром реальным и миром выдуманным были запутанными и неоднозначными — «это правда, но правда сшивная», — сформулировал он однажды свое понимание дела. Его художественная проза была дивной птицей подлинного бытия, ее плоть и кровь составляли плоть и кровь самого Лескова, реальных персонажей из его детства, юности, зрелости, он только «слегка оперял эти документальные сведения вымыслом», по меткому выражению Р. М. Алексиной. Иногда этот вымысел можно отсечь от правды, но в большинстве случаев они так вросли и проросли друг в друга, что разобраться, где в «птице творчества», разделываемой на мельчайшие составные части вивисекторами-исследователями, «тушка правды», а где «оперение вымысла» — невозможно,

поскольку Лесков не только создавал своих «птиц», но и вдыхал в них душу живую. Он и в документальных-то источниках о себе столько наприсочинял, что его прозу смело можно считать источником не менее достоверным, чем автобиографические заметки. О прозе — отдельно, пока же обратимся к малочисленным сохранившимся его наброскам «о себе», написанным в разное время. Им, мне кажется, можно доверять: Лесков набросал эти сведения о себе безоценочно, сухо, в виде «схемок», короткими фразами, с указанием лишь дат, имён и мест.

В чудом сохранившейся и дошедшей до нас автобиографии Николай Семёнович сообщает: «Я родился 4 февраля 1831 года Орловского уезда в селе Горохове, где жила моя бабушка, у которой на ту пору гостила моя мать».

Как «тайнодум», он не вел дневников, не любил откровенничать, не желал «выдавать себя», зато «нескупо рассыпал» свои мысли и реальные события жизни в произведениях. Так же писатель намеревался поступить в черновиковом отрывке «Убежище. Роман. Из записок Пересветова», как он делал ранее в повестях «Несмертельный Голован», «Пугало», «Зверь», «Смех и горе», рассказах «Житие одной бабы», «Голод», жанровых зарисовках «Русское тайнобрачие», «Умершее сословие» и многих других сочинениях, в частности, в «Соборянах», рукоположив своего любимого героя, протопопа Савелия Туберозова, во иереи 4 февраля 1831 года — в день и год рождения самого автора повести. Лескововеды до сих пор не сойдутся во мнении, что же он хотел сказать, сблизив таким образом себя со своим персонажем. Критик Елена Перманаева считает: «Автор дает ясный знак: с этого момента (*имеется в виду момент совпадения дат — Н. Л.*) отец Савелий доносит до нас посильно преобразованные суждения о мире самого Лескова; и пусть они самые «препростые», однако призваны последовательно изложить то, что принято называть «вечные ценности» или «простые истины», и так или иначе просветить и утешить людей, поддавшихся заблуждениям и обманам обольщающих духов».[5]

---

[5] Елена Перманаева. «Биографическая символика в художественном наследии Лескова». «Русская жизнь», 1991 г.

Писатель, предпославший к своей повести «Старинные психопаты» эпиграф «Что взаправду было и что миром сложено — не распознаешь», да еще и намеренно уточненный и развернутый внутри текста: «И еще того удивительнее: замечаются случаи, когда вымышленный рассказ после весьма небольшого промежутка времени объявляется за действительное событие», безусловно, предвидел появление разнообразных толкователей «ясных знаков» и, желая предотвратить слишком грубые погрешности в работах будущих «лесковознавцев», решился сам набросать «скупые и малоговорящие схемки своей жизни». И теперь, из современного «прекрасного далёка», совершенно очевидно, что это только Николаю Семёновичу они казались малоговорящими, на самом деле его наброски — бесценные источники «правды о себе». В конце 1885 года он сочиняет «Автобиографическую заметку», в которой «бегло очеркивает свою жизнь»: «Под давлением неодолимой скуки, которую ощущаю и с которой бесплодно борюся с осени 1881 г., хочу набросать кое-что на память о моей личности, если она может кого-нибудь занимать», — мотивирует Николай Семёнович свое обращение к автобиографическому жанру.

На самом деле его одолевал страх. Если бы писатель не озаботился запечатлеть на бумаге свои скупые «схемки», вышло бы совсем худо: не успела еще осесть земля на его могиле, как случилось то, чего он так страшился. Наиболее точно выразил аналогичные опасения А. Ф. Писемский: «Умереть я не боюсь: боюсь того, что какой-нибудь щелкопер немедленно напишет обо мне в газетах биографическую статейку, наврет в ней с три короба, да еще деньги за нее получит». Смерть Лескова вызвала множество «вольных или невольных импровизаций в области якобы непосредственно личных воспоминаний или существенных биографических неверностей, в них допускалось неряшливое цитирование его статей и, порою даже преднамеренное, искажение и перекраивание текста его писем, — с негодованием писал Андрей Николаевич. — Эти легковесные изделия всегда заставляли с горечью вспоминать нарочито злую на сей предмет сентенцию, приписываемую остромысленному Риваролю: «Самая ужасная вещь для умерших писателей — воспоминания о них

так называемых друзей и поклонников». Посему и мы оставим в стороне сомнительные мемуары «друзей и поклонников» вкупе с измышлениями толкователей «ясных знаков», и, в поисках правды, как говорят французы, заглянем в чернильницу — ту самую, в виде домика, к которой наш герой испытывал теплейшие чувства, и которая служила Н. С. Лескову «источником времятворящим».

Из его «схемок» отчетливо видно, что первая четверть жизни Николая Лескова была разделена на три дома. В одном он родился и провел часть детства — это было не слишком хорошее для него время; в другом — недолго, но счастливо жил с отцом и матерью; из третьего — «вышел в мир и в большую жизнь».

Итак, дом первый. Он принадлежал богатому помещику, предводителю орловского дворянства М. А. Страхову, владельцу села Горохова, у которого семейство Алферьевых проживало «на хлебах».

Как вышло, что орловский помещик, не преуспевший службой приобрести потомственное дворянство и пожизненно числившийся «из обер-офицерских детей»[6], хоть и выгодно женившийся на богатой купеческой дочери, вдруг оказался вынужденным работать за малое жалование, да к тому же проживать в чужом доме?

Виноваты в бедствиях Алферьевых были французский завоеватель Наполеон и московский губернатор Ростопчин. Каким образом эта «непара» повлияла на судьбу обычного московского семейства среднего класса — сейчас разберемся.

Дед Лескова по матери, Пётр Сергеевич Алферьев, орловский дворянин по рождению, жил в Москве, слыл человеком энергичным, развитым, умным. Он служил в Сенате то ли архивариусом, то ли регистратором, воплощая в дело постулат создателя этого учреждения, Петра Великого: «… и впредь надлежит трудиться и все заранее современем (*своевременно — Н. Л.*) изготовлять, понеже пропущение времени смерти невозвратной подобно». «Служу в Сенате» — звучало солидно, но был ли Сенат на самом деле значительным государственным учреждением? Незадолго

---

[6] Так именовались тогда чиновники, не дослужившиеся до «асессорства», которое позволяло получить дворянское звание.

до того исторического периода, который мы описываем, а точнее — в 1801 году Александр I подготовил к своей коронации проект реорганизации Сената, желая придать ему статус парламента, соединяющего исполнительные, судебные, контрольные и законосовещательные функции. Проект вызвал в окружении царя бурю. «Группа товарищей», объединившись с прибывшим в Россию учителем императора Александра Лагарпом, день и ночь твердили ему о вредности какого-либо ограничения самодержавия. В конце концов Александр I отказался от полной реорганизации и провел лишь некоторые реформы. По указу от 8 сентября 1802 года Сенат определялся как «верховное место империи», чья власть может быть ограничена лишь императором. Через несколько месяцев наивно уверовавший в дарованные ему вольности Сенат попробовал опротестовать доклад военного министра, уже утвержденный Александром. В результате последовал указ от 21 марта 1803 года, запрещавший Сенату делать представления на изданные законы. В 1805 году Сенат преобразовали в чисто судебное учреждение с отдельными административными функциями. В 1811-м Сперанский предложил разделить административные и судебные функции Сената, но проект не был реализован. Таким образом, работа в Сенате стала в основном бюрократической; по большому счету он не имел достаточной власти и свободы. За деятельностью Сената строго надзирали прокурорские органы во главе с обер-прокурором, за ними грозно темнела исполинская тень государя. Боясь попасть под прокурорскую (или, не дай Бог, царскую) раздачу, и сенаторы, и служащие отбояривались от любой ответственности за конкретные дела. К примеру, в Сенат поступали постановления общих губернских присутствий, но недоброжелательство и волокита, с которыми там относились к ним, привели к тому, что губернские власти махнули рукой на свое право вмешиваться в законодательство, и с начала XIX века оно существовало только на бумаге.

Пётр Сергеевич Алферьев должность в Сенате занимал невысокую и чин носил на себе невеликий — но ведь и мелкий жемчуг в дорогие снизки нижут. На многозначительное «служу в Сенате» и мнимое дворянство (судя по всему, Алферьев скрывал свое не ахти какое казистое обер-офицерское положение)

польстился богатый московский купец Василий Никитович Колобов: он согласился выдать за «сенатора» свою старшую дочь Александру. Это было характерное для того времени породнение, призванное повысить статус купеческого сословия с одной стороны, и поправить финансовое положение мелкопоместных, не слишком знатных дворян — с другой. Алферьев «поправился» недурственно: получил за супругой, не считая разного постельно-платьевого и прочего домашнего скарба, солидный денежный пакет плюс усадьбу с садом и прочими угодьями на Новинском бульваре. Любой бы решил, что Александра Колобова понравилась жениху именно внушительным приданым, однако Николай Семёнович Лесков всегда отвергал меркантильные соображения деда, утверждая, что бабушка Александра была взята из купчих в дворянский род (который на самом деле, как мы уже знаем, был вовсе не дворянским, а «штабс-капитанским») «не за богатство, а за красоту». Внешность у нее была самая что ни на есть русская: сложения аппетитного, а в чертах лица ясно заметна та особая уветливость, которую Лесков воспел в «Запечатленном ангеле»: «У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтобы она не путалась, а как шарок всюду поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется,

от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно».

У бабушки Николая Лескова был секрет — она обладала двумя именами, в православной традиции это встречается очень редко. История бабушкиного «двуимения» увлекательна и очень характерна для своего времени. Отец Александры Васильевны, богатый выскочка-купец, страдал многими комплексами, свойственными нуворишам. Родовые корни Василия Никитовича крепко вросли в землю в деревушке под Рязанью, однако заносился он высоко, хотя так и не вошел в московскую «элиту» — верхушку купечества. Первый капитал он заработал на мелких операциях, начав с восьми мешков пшеницы, а через несколько лет уже продавал зерно за границу крупными партиями, наживая немалые барыши. Не рассказами ли Александры Васильевны о махинациях ее хваткого батюшки навеяна «краткая трилогия в просонке» «Отборное зерно», в которой «рыжий черт» купчина закупил «весь урожай, обмолоченный и хранимый в амбарах села Черитаева», и сразу отдал пять тысяч задатку за выставочную пшеничку. Увы, купленный товар не соответствовал выставочному образцу: негодяй-продавец сбыл мусор да полову русскому единоверцу, потому что с иностранцами «скверная история может выйти». Эдакое «русское изобретение», то есть мошенничество, считал рассказчик, «только один русский же национальный гений и может преодолеть», то есть на всякую загогулину найдется у нас своя штучка с винтом. И он оказался прав! Получив негодный товар, купец такую операцию провернул, что и сам при барыше остался, и хозяин барки, везшей гнилое зерно, нажился, да и еще и «закипело народное оживление и пошла поправка всей местности» прибрежных деревень, которые еще в начале лета сильно погорели и пребывали в нищете. Барку с зерном застраховали и нарочно затопили. Чтобы поднять со дна остатки груза, страховщики нанимали деревенских мужчин в день по полтора рубля, а «бабенок» — по рублю. «А работали потихонечку — все лето так с Божией помощью и проработали. Зато на берегу точно гулянье стало — погорелые слезы высохли, все поют песни да приплясывают, а на горе у наемных плотников весело топоры стучат и домики, как грибки, растут на погорелом месте. И так,

сударь мой, все село отстроилось, и вся беднота и голытьба поприкрылась и понаелась, и Божий храм поправили. Всем хорошо стало, и все зажили, хваляще и благодаряще Господа, и никто, ни один человек не остался в убытке — и никто не в огорчении. Никто не пострадал!» Удивленный собеседник спрашивает рассказчика, повествующего ему сию поучительную историю ночью, под мирный перестук колес:

«— Как никто?

— А кто же пострадал? Барин, купец, народ, то есть мужички, — все только нажились.

— А страховое общество?!

— Страховое общество?

— Да.

— Батюшка мой, о чем вы заговорили!

— А что же — разве оно не заплатило?

— Ну, как же можно не заплатить — разумеется, заплатило.

— Так это, по-вашему — не гадость, а социабельность?!

— Да разумеется же социабельность! Столько русских людей поправилось, и целое село год прокормилось, и великолепные постройки отстроились, и это, изволите видеть, по-вашему называется «гадость».

— А страховое-то общество — это что уже, стало быть, не социабельное учреждение?

— Разумеется, нет.

— А что же это такое?

— Немецкая затея.

— Там есть акционеры и русские.

— Да, которые с немцами знаются да всему заграничному удивляются и Бисмарка хвалят».

Купец Колобов был не из тех, кто «Бисмарка хвалит» да увлекается «заграничными затеями», он вел дела «по доброй старине». И дома, и в амбарах перед ним народ трепетал, наперекор никто и пикнуть не смел. Когда его супруга забеременела, Василий Никитович огласил свою волю: непременно желаю, мол, чтобы дочь носила «благородное имя» Александра! Однако во время разрешения жены от бремени в 1790 году он некстати отлучился из Москвы по своим купеческим негоциям. Приходской же

священник, то ли в отместку за что-то, то ли из непонятного упрямства, невзирая на мольбы роженицы, нарек младенца в точности по святцам — Акилиной. Вернувшийся Колобов пришел в ярость. Он слышать не мог «неблагозвучного» имени новорожденной, видя в нем поругание своей купеческой именитости. Бросился к архиерею за разрешением на «перекрещивание» — да куда там! Святцы — это святое…

Тогда Колобов строго-настрого приказал всем в доме звать девочку Александрой. Его приказ выполнялся беспрекословно, и особенно ревниво хранила тайну своего настоящего имени сама не желавшая быть простецкой Акулькой Александра Васильевна.

«Представьте же себе удивление всех предстоявших на панихидах по скончавшейся в свое время Александре, — смеясь, рассказывал правнук ее Андрей Николаевич, — когда священник возгласил «вечную память болярине Акилине»! Смех его был, без всякого сомнения, полон любви, потому как Александра-Акилина была человеком добрейшим, кротким и прекраснодушным «без даже капельки хитрости», а «лучшее ее свойство было — душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся простонародный склад». Качества эти, к сожалению, унаследовали не все дети и внуки Александры Васильевны. В самой полной мере была на нее похожа и внешне, и характером младшая дочь — Александра Петровна, в замужестве Шкотт; гораздо менее доброты и мягкости досталось уже знакомой нам Наталье Страховой-Константиновой. И совсем непохожими на мать уродились Марья Петровна и единственный сын Александры Васильевны, Сергей Петрович. Беспощадный по отношению ко многим своим родственникам Николай Семёнович Лесков о бабушке Александре всегда говорил и писал не иначе, как с умилением. «Память о ней для него была «веселою старою сказкой», которой всегда «ласково улыбалось сердце», — такими трогательными словами передал чувства отца по отношению к Александре Васильевне А. Н. Лесков. «Но, сколь это ни ценно, было тут и нечто ещё большего значения, — добавляет он. — Горький сказал о Лескове: «Он прекрасно чувствовал то неуловимое, что называется «душой народа». Душу народа первая раскрыла, дала верно почувствовать Лескову Акилина Колобова».

Выйдя замуж за Алферьева, кроткая Александра Васильевна хозяйство вела исправно, пеклась о муже, рожала детей, а Пётр Сергеевич служил на благо Отечества — таким благополучнейшим образом Алферьевы и катались сырком в маслице несколько лет.

В 1812 году началась война: на Россию «двинулись, как тучи», французы во главе с Наполеоном Бонапартом, французская армия стремительно подступала к Москве. С целью спасения сенатского архива Пётр Сергеевич получил задание вывезти его в Казань. Перед отъездом предусмотрительный Алферьев надежно зарыл в тайном месте серебро, ценности и документы, помог жене упаковать домашний скарб и, передав дом в руки верных людей, велел Александре Васильевне поскорей отправляться с детьми на его родину — в Орловскую губернию. Засим он со спокойным сердцем убыл в служебную командировку. Но на беду не только Алферьевых, но еще многих жителей столицы, тогдашний губернатор Москвы Ф. В. Ростопчин развернул бурную шапкозакидательскую пропаганду, «ершился, метался, прядал во все стороны», по выражению Николая Семёновича, уверяя москвичей, что город не будет предан в руки врага. Александра Васильевна, как и прочие такие же простецы, поверила «ёрницким» ростопчинским «афишкам» и засиделась в Москве до последнего: французы на пороге, а она с детьми «все еще тута», не исполнила мужнин наказ! Еле-еле удалось ей раздобыть какой-то возок, и с трудом «уконтентовавшись» с детьми и пожитками на сие малопоместительное транспортное средство, в панике и страхе вырваться из столицы в многолюдном потоке беженцев…

В Орле семейство нашло приют то ли у друзей, то ли у каких-то родственников Алферьева; имен этих отзывчивых людей история, к сожалению, не сохранила. Несмотря на временные тяготы и неудобства, Александра Васильевна по ночам спала крепко, ее сны не тревожили ужасные картины будущего. Она думала: даже если дом спалят французы, земля-то под ним все равно закреплена за Алферьевыми! Чуть русские войска прогонят врага — а в этом никто не сомневался — можно будет выкопать ценности, продать их и построить в освобожденной

столице новый дом, еще краше прежнего. Однако человек предполагает, а Бог располагает: вышло все на узловатый козелок. После ухода Наполеона Пётр Сергеевич доставил из Казани обратно в столицу сенатский архив в целости и сохранности, а вот разыскать закопанное до отъезда собственное добро и документы не смог, даже не сумел определить прежние границы полученного в приданое за женой участка. А поскольку бумаги на владение землей покоились там же, где и семейное серебро, доказать свои права на землю тоже не удалось. Так Алферьевы потеряли основную часть своего состояния.

Встал главный вопрос — где жить?

Снимать квартиру? И в те времена, как и сегодня, жилье в столицах обходилось дорого. Семья у Алферьева была немаленькая, достойным для неё жильем по принятым тогда в обществе меркам считалась бы квартира площадью не менее ста квадратных аршин, стоимостью около сорока рублей в месяц. Такая квартира была по карману лишь титулярным советникам, имевшим оклад 105 рублей в месяц (без премиальных и надбавок), коллежским асессорам, получавшим на руки чистыми 135 целковых плюс льготные, да надворным да коллежским советникам с еще более высокими заработками. А сенатские секретари и архивариусы, вроде Алферьева, или коллежские регистраторы (все — гражданские чины XIII класса в Табеле о рангах) на свои 53 с полтиной, 57 или 68 рублей в месяц и посягать не смели на подобные апартаменты…

Вот как получилось, что аракчеевская паника и наполеоновские пожары подвели черту благополучному московскому существованию Алферьевых. Они утратили родной дом. Война 1812 года будет отзываться в прозе Лескова на протяжении всей его литературной деятельности, ведь связанные с нею события стали судьбоносными для его собственной семьи.

Пришлось главе семейства Алферьевых, подав в отставку, перебираться в Орёл. Родной город встретил Петра Сергеевича как неродной: довелось ему там со чадами и домочадцами «испить горькую чашу безземельных и бездомных обнищеванцев». Далеко не сразу Алферьев нашел скромную должность — да и той был безмерно рад, так как Господь послал ему к тому

времени еще двоих детей: в 1813 году — дочку Машеньку, будущую маму Николая Семёновича Лескова, а в 1816-м — сына Серёжу. Чтобы хоть как-то подсобить отцу семейства в материальном плане, жена Петра Сергеевича со старшими дочерьми в меру сил подрабатывали шитьем и рукоделием: на одной из экспозиций дома-музея Н. С. Лескова в Орле можно увидеть вышитые их руками бисерные кошелечки, сумочки и чехольчики для лорнетов.

Возникает справедливый вопрос: почему бедствующей дочери ничем не помог состоятельный батюшка Александры Васильевны, купец Колобов? Возможно, он и сам потерял свое богатство в огне войны 1812 года, а может быть, находился в убеждении, что супруг обязан самостоятельно обеспечивать своё семейство, по старинной купеческой пословице: дочь замуж с рук скатилася — как будто и не родилася. Или ему стал известен тот факт, что Алферьев не был дворянином, хотя, сватаясь, выдавал себя за такового, и тесть осердился на зятя? И почему многочисленная родня Алферьевых не сделала никаких спасительных движений, направленных на выручку одного из своих членов? То ли орловский алферьевский отводок был слишком захудалым да малоденежным, то ли сие было учинено в некое назидательное поучение Петру Сергеевичу за неведомые его вины перед близкими? Увы, похоже, мы этого никогда не узнаем. Одно ясно: ощутимой материальной помощи Александра Васильевна и Пётр Сергеевич от родственников не получили. Последующие шесть лет они провели в трудах, постоянной экономии и самоограничениях. Затем Господь сжалился над терпеливцами: предводитель орловского дворянства М. А. Страхов предложил Петру Сергеевичу стать управителем его обширных имений. И Алферьевы поселились в скромном флигеле в одном из поместий.

Но скоро пятидесятилетний Страхов, ровесник Петра Сергеевича, разглядел красоту его дочери Натальи, которой на ту пору не исполнилось даже пятнадцати, и возжелал на ней жениться. «Отказа благодетелю быть не могло», хоть он и был в три с половиной раза старше невесты и добрым нравом не отличался. Свадьба состоялась, и в 1824 году семейство Алферьевых перебралось из управительского флигелька в просторный господский дом, который Лесков подробно описал в рассказе

«Зверь»: «В имении дяди был каменный дом, похожий на замок. Это было претенциозное, но некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. (…) Перед домом дяди, за широким круглым цветником, окруженным расписною решеткою, были широкие ворота, а против ворот посреди куртины было вкопано высокое, прямое, гладко выглаженное дерево, которое называли «мачта». На вершине этой мачты был прилажен маленький помостик, или, как его называли, «беседочка». В беседочке сидел специально отобранный смышленый и кроткий медвежонок-охранник, которого, когда в нем просыпалась его звериная натура, убивали и сменяли новым, более мирным и юным».

При всей дикости дурно-барских затей, дом Страхова поражал роскошью. Роскошь, как многие уверены, должна быть всякому приятна, однако Лесков ненавидел место своего рождения. Почему? На этот вопрос мы находим ответ в «Автобиографической заметке» Лескова: «За М. А. Страховым была замужем родная сестра моей матери Наталия Петровна, большая красавица, которую старик муж ревновал самым чудовищным и самым недостойным образом к кому попало. Это был человек невоспитанный, деспотический и, кажется, немножко помешанный: он был старше моей тетки лет на сорок и спал с нею, привязывая ее иногда за ногу к ножке своей двуспальной кровати. Страдания тетки были предметом всеобщего сожаления, но ни отец, ни мать и никто другой не смели за нее заступиться». Владелец поместья, в котором развертываются события рассказа «Зверь», был списан Лесковым с этого человека: «Он был очень богат, стар и жесток. В характере его преобладала злобность и неумолимость». Да и многое в плодомасовских хрониках и в других произведениях Лескова почерпнуто из детских воспоминаний, из наблюдений над бытом и нравами дворянских родов Орловской губернии 1830-1840-х годов, из семейных преданий.

Продолжение в следующем номере.